

Лев Троцкий. Их мораль и наша.

- Испарения морали.
- Марксистский аморализм и вечные истины.
- "Цель оправдывает средства".
- Иезуитизм и утилитаризм.
- "Общеобязательные правила морали".
- Кризис демократической морали.
- "Здравый смысл".
- Моралисты и ГПУ.
- Политическая расстановка фигур.
- Сталинизм — продукт старого общества.
- Мораль и революция.
- Революция и институт заложников.
- "Мораль кафров".
- "Аморализм" Ленина.
- Поучительный эпизод.
- Диалектическая независимость цели средства.

преодолеть чувство собственной несостоятельности при помощи маскарадной бороды пророка.

Излюбленным приемом морализирующего филистера является отождествление образа действий реакции и революции. Успех приема достигается при помощи формальных аналогий. Царизм и большевизм — близнецы. Близнецов можно открыть также в фашизме и коммунизме. Можно составить перечень общих черт католицизма, или уже: иезуитизма и большевизма. Со своей стороны, Гитлер и Муссолини, пользуясь совершенно тем же методом, доказывают, что либерализм, демократия и большевизм представляют лишь разные проявления одного и того же зла. Наиболее широкое признание встречает ныне та мысль, что сталинизм и троцкизм "по существу" одно и то же. На этом сходятся либералы, демократы, благочестивые католики, идеалисты, прагматисты, анархисты и фашисты. Если сталинцы не имеют возможности примкнуть к этому "Народному фронту", то только потому, что случайно заняты истреблением троцкистов.



Основная черта этих сближений и уподоблений в том, что они совершенно игнорируют материальную основу разных течений, т. е. их классовую природу и, тем самым, их объективную историческую роль. Взамен этого они оценивают и классифицируют разные течения по какому-либо внешнему и второстепенному признаку, чаще всего по их отношению к тому или другому абстрактному принципу, который для данного классификатора имеет особую профессиональную ценность. Так, для римского папы франкмасоны, дарвинисты, марксисты и анархисты представляют близнецов, ибо все они святотатственно отрицают беспорочное зачатие. Для Гитлера близнецами являются либерализм и марксизм, ибо они игнорируют "кровь и честь". Для демократа фашизм и большевизм — двойники, ибо они не склоняются перед всеобщим избирательным правом. И так далее.

Известные общие черты у сгруппированных выше течений несомненны. Но суть в том, что развитие человеческого рода не исчерпывается ни всеобщим избирательным правом, ни "кровью и честью", ни догматом беспорочного зачатия. Исторический процесс означает прежде всего борьбу классов, причем разные классы во имя разных целей могут в известных случаях применять сходные средства. Иначе, в сущности, и не может быть. Борющиеся армии всегда более или менее симметричны, и, если б в их методах борьбы не было ничего общего, они не могли бы наносить друг другу ударов.

Темный крестьянин или лавочник, если он, не понимая ни происхождения, ни смысла борьбы между пролетариатом и буржуазией, оказывается меж двух огней, будет с одинаковой ненавистью относиться к обоим воюющим лагерям. А что такое все эти демократические моралисты?

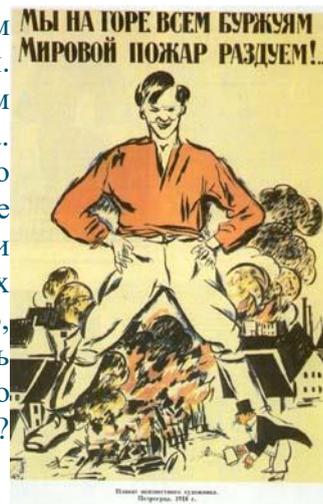
Идеологи промежуточных слоев, попавших ила боящихся попасть меж двух огней. Главные черты пророков этого типа; чуждость великим историческим движениям, заскорузлый консерватизм мышления, самодовольство ограниченности и примитивнейшая политическая трусость. Моралисты больше всего хотят, чтоб история оставила их в покое, с их книжками, журналчиками, подписчиками, здравым смыслом и нравственными прописями. Но история не оставляет их в покое. То слева, то справа она наносит им тумаки. Ясно: революция и реакция, царизм и большевизм, коммунизм и фашизм, сталинизм и троцкизм — все это двойники. Кто сомневается, может прощупать симметричные шишки на черепе самих моралистов, с правой и с левой стороны.

Марксистский аморализм и вечные истины.

Наиболее популярное и наиболее импонирующее обвинение, направленное против большевистского "аморализма", находит свою опору в так называемом иезуитском правиле большевизма: "цель оправдывает средства". Отсюда уже нетрудно сделать дальнейший вывод, так как троцкисты, подобно всем большевикам (или марксистам), не признают принципов морали, следовательно, между троцкизмом и сталинизмом нет "принципиальной" разницы. Что и требовалось доказать.

Один американский еженедельник, весьма вульгарный и циничный, произвел насчет морали большевизма маленькую анкету, которая, как водится, должна была одновременно служить целям этики и рекламы. Неподражаемый Г. Дж. Уэльс, гомерическое самодовольство которого всегда превосходило его незаурядную фантазию, не замедлил солидаризироваться с реакционными снобами из "Коммон Сене". Здесь все в порядке. Но и те из участников анкеты, которые считали нужным взять большевизм под свою защиту, делали это, в большинстве случаев, не без застенчивых оговорок: принципы марксизма, конечно, плохи, но среди большевиков встречаются, тем не менее, достойные люди (Истмен). Поистине, некоторые "друзья" опаснее врагов.

Если мы захотим взять господ обличителей всерьез, то должны будем прежде всего спросить их, каковы же их собственные принципы морали. Вот вопрос, на который мы вряд ли получим ответ. Допустим, в самом деле, что ни личная, ни социальная цели не могут оправдать средства. Тогда нужно, очевидно, искать других критериев, вне исторического общества и тех целей, которые выдвигаются его развитием. Где же? Раз не на земле, то на небесах. Попы уже давно открыли безошибочные критерии морали в божественном откровении. Светские попики говорят о вечных истинах морали, не называя свой первоисточник. Мы вправе, однако, заключить: раз эти истины вечны, значит они должны были существовать не только до появления на земле полуобезьяны-получеловека, но и до возникновения солнечной системы. Откуда же они, собственно, взялись? Без бога теория вечной морали никак обойтись не может.



Моралисты англо-саксонского типа, поскольку они не ограничиваются рационалистическим утилитаризмом, этикой буржуазного бухгалтера, выступают в качестве сознательных или бессознательных учеников виконта Шефтсбери (Shaftesbury), который — в начале 18-го века! — выводил нравственные суждения из особого "морального чувства" (moral sense), раз навсегда будто бы данного человеку. Сверхклассовая мораль неизбежно ведет к признанию особой субстанции, "морального чувства", "совести", как некоего абсолюта, который является ничем иным, как философски-трусливым псевдонимом бога. Независимая от "целей", т. е. от общества, мораль, — выводить ли ее из вечных истин или из "природы человека", — оказывается, в конце концов, разновидностью "натуральной теологии" (natural theology). Небеса остаются единственной укрепленной позицией для военных операций против диалектического материализма.

В России возникла в конце прошлого столетия целая школа "марксистов" (Струве, Бердяев, Булгаков и другие), которая хотела дополнить учение Маркса самодовлеющим, т. е. надклассовым нравственным началом. Эти люди начали, конечно, с Канта и категорического императива. Но чем они кончили? Струве ныне — отставной министр крымского барона Врангеля и верный сын церкви; Булгаков — православный священник; Бердяев истолковывает на разных языках

апокалипсис. Столь неожиданная, на первый взгляд, метафорфоза объясняется отнюдь не "славянской душой", — у Струве немецкая душа, — а размахом социальной борьбы в России. Основная тенденция этой метаморфозы, по существу, интернациональна.

Классический философский идеализм, поскольку, он, в свое время, стремился секуляризовать мораль, т. е. освободить ее от религиозной санкции, представлял огромный шаг вперед (Гегель). Но, оторвавшись от неба, мораль нуждалась в земных корнях. Открыть эти корни и было одной из задач материализма. После Шефтсбери жил Дарвин, после Гегеля — Маркс. Апеллировать ныне к "вечным истинам" морали значит пытаться повернуть колесо назад. Философский идеализм — только этап: от религии к материализму или, наоборот, от материализма к религии.

"Цель оправдывает средства".

Иезуитский орден, созданный в первой половине 16-го века для отпора протестантизму, никогда не учил, к слову сказать, что всякое средство, хотя бы и преступное с точки зрения католической морали, допустимо, если только оно ведет к "цели", т. е. к торжеству католицизма. Такая внутренне-противоречивая и психологически немыслимая доктрина была злонамеренно приписана иезуитам их протестантскими, а отчасти и католическими противниками, которые не стеснялись в средствах для достижения *своей* цели. Иезуитские теологи, которых, как и теологов других школ, занимал вопрос о личной ответственности, учили на самом деле, что средство, само по себе, может быть индифферентным, но что моральное оправдание или осуждение данного средства вытекает из цели. Так, выстрел сам по себе безразличен, выстрел в бешеную собаку, угрожающую ребенку, — благо; выстрел с целью насилия или убийства, — преступление. Ничего другого, кроме этих общих мест, богословы ордена не хотели сказать. Что касается их практической морали, то иезуиты вовсе не были хуже других монахов или католических священников, наоборот, скорее возвышались над ними, во всяком случае, были последовательнее, смелее и проницательнее других. Иезуиты представляли воинствующую организацию, замкнутую, строго централизованную, наступательную и опасную не только для врагов, но и для союзников. По психологии и методам действий иезуит "героической" эпохи отличался от среднего кюрэ, как воин церкви от её лавочника. У нас нет основания идеализировать ни того, ни другого. Но совсем уж недостойно глядеть на фанатика-воина глазами тупого и ленивого лавочника.

Если оставаться в области чисто-формальных или психологических уподоблений, то можно, пожалуй, сказать, что большевики относятся к демократам и социал-демократам всех оттенков, как иезуиты — к мирной церковной иерархии. Рядом с революционными марксистами социал-демократы и центристы кажутся умственными недорослями или знахарями рядом с докторами: ни одного вопроса они не продумывают до конца, верят в силу заклинаний и трусливо обходят каждую трудность в надежде на чудо. Оппортунисты — мирные лавочники социалистической идеи, тогда как большевики ее убежденные воины. Отсюда ненависть к большевикам и клевета на них со стороны тех, которые имеют с избытком их исторически обусловленные недостатки, но не имеют ни одного из их достоинств.

Однако, сопоставление большевиков с иезуитами остается все же совершенно односторонним и поверхностным, скорее литературным, чем историческим. В соответствии с характером и интересами тех классов, на которые они опирались, иезуиты представляли реакцию, протестанты — прогресс. Ограниченность этого "прогресса" находила, в свою очередь, прямое выражение в морали протестантов. Так, "очищенное" им учение Христа вовсе не мешало городскому буржуа Лютеру призывать к истреблению восставших крестьян, как "бешеных собак". Доктор Мартин считал, очевидно, что "цель оправдывает средства" еще прежде, чем это правило было приписано иезуитам. В свою очередь, иезуиты, в соперничестве с протестантизмом, все больше приспособлялись к духу буржуазного общества и из трех обетов: бедности, целомудрия и послушания, сохраняли лишь третий, да и то в крайне смягченном виде. С точки зрения христианского идеала, мораль иезуитов падала тем ниже, чем больше они переставали быть иезуитами. Воины церкви становились ее бюрократами и, как все бюрократы, — изрядными мошенниками.

Иезуитизм и утилитаризм.

Эта краткая справка достаточна, пожалуй, чтоб показать, сколько нужно невежества и ограниченности, чтоб брать всерьез противопоставление "иезуитского" принципа: "цель оправдывает средства", другой, очевидно, более высокой морали, где каждое "средство" несет на себе свой собственный нравственный ярлычок, как товары в магазинах с твердыми ценами. Замечательно, что здравый смысл англо-саксонского филистера умудряется возмущаться "иезуитским" принципом и одновременно вдохновляться моралью утилитаризма, столь характерной для британской философии. Между тем критерий Бентама — Джон Милля: "возможно большее счастье возможно большего числа" ("the greatest possible happiness of the greatest possible number") означает: моральны те средства, которые ведут к общему благу, как высшей цели. В своей общей философской формулировке англо-саксонский утилитаризм полностью совпадает, таким образом, с "иезуитским" принципом "цель оправдывает средства". Эмпиризм, как видим, существует на свете для того, чтоб освободить от необходимости сводить концы с концами.

Герберт Спенсер, эмпиризму которого Дарвин привил идею "эволюции", как прививают оспу, учил, что в области морали эволюция идет от "ощущений" к "идеям". Ощущения навязывают критерий *непосредственного* удовольствия, тогда как идеи позволяют руководствоваться критерием *будущего, более длительного и высокого* удовольствия. Критерием морали является, таким образом, и здесь "удовольствие" или "счастье". Но содержание этого критерия расширяется и углубляется в зависимости от уровня "эволюции". Таким образом, и Герберт Спенсер, методами своего "эволюционного" утилитаризма, показал, что принцип: "цель оправдывает средства" не заключает в себе ничего безнравственного.

Наивно, однако, было бы ждать от этого абстрактного "принципа" ответа на практический вопрос: что можно и чего нельзя делать? К тому же принцип: цель оправдывает средства, естественно, порождает вопрос: а что же оправдывает цель? В Практической жизни, как и в историческом движении, цель и средство непрерывно меняются местами. Строящаяся машина является "целью" производства, чтоб, поступив затем на завод, стать его "средством". Демократия является, в известные эпохи, "целью" классовой борьбы, чтоб превратиться затем в ее "средство". Не заключая в себе ровно ничего безнравственного, так называемый "иезуитский" принцип не разрешает, однако, проблему морали.

"Эволюционный" утилитаризм Спенсера также покидает нас без ответа на полпути, ибо, вслед за Дарвиным, пытается растворить конкретную историческую мораль в биологических потребностях или в "социальных инстинктах", свойственных стадным животным, тогда как самое понятие морали возникает лишь в антагонистической среде, т. е. в обществе, расчлененном на классы.

Буржуазный эволюционизм останавливается бессильно у порога исторического общества, ибо не хочет признать главную пружину эволюции общественных форм: *борьбу классов*. Мораль есть лишь одна из идеологических функций этой борьбы. Господствующий класс навязывает обществу свои цели и приучает считать безнравственными все те средства, которые противоречат его целям. Такова главная функция официальной морали. Она преследует "возможно большее счастье" не большинства, а маленького и все уменьшающегося меньшинства. Подобный режим не мог бы держаться и недели на одном насилии. Он нуждается в цементе морали. Выработка этого цемента составляет профессию мелкобуржуазных теоретиков и моралистов. Они играют всеми цветами радуги, но остаются в последнем счете апостолами рабства и подчинения.

"Общеобязательные правила морали."

Кто не хочет возвращаться к Моисею, Христу или Магомету, ни довольствоваться эклектической крошкой, тому остается признать, что мораль является продуктом общественного развития; что в ней нет ничего неизменного; что она служит общественным интересам; что эти интересы противоречивы; что мораль больше, чем какая-либо другая форма идеологии, имеет классовый характер.

Но ведь существуют же элементарные правила морали, выработанные развитием человечества, как целого, и необходимые для жизни всякого коллектива? Существуют, несомненно, но сила их действия крайне ограничена и неустойчива. "Общеобязательные" нормы тем менее действительны, чем более острый характер принимает классовая борьба. Высшей формой классовой борьбы является гражданская война, которая взрывает в воздух все нравственные связи между враждебными классами.

В "нормальных" условиях "нормальный" человек соблюдает заповедь: "не убий!". Но если он убьет в исключительных условиях самообороны, то его оправдают присяжные. Если, наоборот, он падет жертвой убийцы, то убийцу убьет суд. Необходимость суда, как и самообороны, вытекает из антагонизма интересов. Что касается государства, то в мирное время оно ограничивается легализованными убийствами единиц, чтобы во время войны превратить "общеобязательную" заповедь: "не убий!" в свою противоположность. Самые "гуманные" правительства, которые в мирное время "ненавидят" войну, провозглашают, во время войны, высшим долгом своей армии истребить как можно большую часть человечества.



Так называемые "общепризнанные" правила морали сохраняют, по существу своему, алгебраический, т. е. неопределенный характер. Они выражают лишь тот факт, что человек, в своем индивидуальном поведении, связан известными общими нормами, вытекающими из его принадлежности к обществу. Высшим обобщением этих норм является "категорический императив" Канта. Но, несмотря на занимаемое им на философском Олимпе высокое положение, этот императив не содержит в себе ровно ничего категорического, ибо ничего конкретного. Это оболочка без содержания.

Причина пустоты общеобязательных форм заключается в том, что во всех решающих вопросах люди ощущают свою принадлежность к классу гораздо глубже и непосредственнее, чем к "обществу". Нормы "общеобязательной" морали заполняются на деле классовым, т. е. антагонистическим содержанием. Нравственная норма становится тем категоричнее, чем менее она "общеобязательна". Солидарность рабочих, особенно стачечников или баррикадных бойцов, неизмеримо "категоричнее", чем человеческая солидарность вообще.

Буржуазия, которая далеко превосходит пролетариат законченностью и непримиримостью классового сознания, жизненно заинтересована в том, чтобы навязать свою мораль эксплуатируемым массам. Именно для этого конкретные нормы буржуазного катехизиса прикрываются моральными абстракциями, которые ставятся под покровительство религии, философии или того убудка, который называется "здоровым смыслом". Апелляция к абстрактным нормам является не бескорыстной философской ошибкой, а необходимым элементом в механике классового обмана. Разоблачение этого обмана, который имеет за собой традицию тысячелетий, есть первая обязанность пролетарского революционера.

Кризис демократической морали.

Чтоб обеспечить торжество своих интересов в больших вопросах, господствующие классы вынуждены идти во второстепенных вопросах на уступки, разумеется, лишь до тех пор, пока эти уступки мирятся с бухгалтерией. В эпоху капиталистического подъема, особенно в последние десятилетия перед войной, эти уступки по крайней мере в отношении верхних слоев пролетариата, имели вполне реальный характер. Промышленность того времени почти непрерывно шла в гору. Благосостояние цивилизованных наций, отчасти и рабочих масс, поднималось. Демократия казалась незыблемой. Рабочие организации росли. Вместе с тем росли реформистские тенденции. Отношения между классами, по крайней мере внешним образом, смягчались. Так устанавливались в социальных отношениях, наряду с нормами демократии и привычками социального мира; некоторые элементарные правила морали. Создавалось впечатление все более свободного, справедливого и гуманного общества. Восходящая линия прогресса казалась "здоровому смыслу" бесконечной.

Вместо этого разразилась, однако, война, со свитой потрясений, кризисов, катастроф, эпидемий, одичания. Хозяйственная жизнь человечества зашла в тупик. Классовые антагонизмы обострились и обнажились. Предохранительные механизмы демократии стали взрываться один за другим. Элементарные правила морали оказались еще более хрупкими, чем учреждения демократии и иллюзии реформизма. Ложь, клевета, взяточничество, подкуп, насилия, убийства получили небывалые размеры. Ошеломленным простакам казалось, что все эти неприятности являются временным результатом войны. На самом деле они были и остаются проявлениями империалистического упадка. Загнивание капитализма означает загнивание современного общества, с его правом и моралью.

"Синтезом" империалистской мерзости является фашизм; как прямое порождение буржуазной демократии пред лицом задач империалистской эпохи. Остатки демократии продолжают держаться еще только в наиболее богатых капиталистических аристократиях: на каждого "демократа" в Англии, Франции, Голландии, Бельгии приходится некоторое число колониальных рабов; демократией Соединенных Штатов командуют "60 семейств" и пр. Во всех демократиях быстро растут, к тому же, элементы фашизма. Сталинизм есть, в свою очередь, продукт империалистского давления на отсталое и изолированное рабочее государство, своего рода симметричное дополнение фашизма.

В то время, как идеалистические филистеры, — анархисты, конечно, на Первом месте, — неутомимо обличают марксистский "аморализм" в своей печати, американские тресты расходуют, по словам Джона Люиса (С. I.O), не менее восьмидесяти миллионов долларов в год на практическую борьбу с революционной "деморализацией", т. е. на шпионаж, подкуп рабочих, фальшивые обвинения и убийства из-за угла. Категорический императив выбирает иногда обходные пути для своего торжества!

Отметим, для справедливости, что наиболее искренние и, вместе, наиболее ограниченные мелкобуржуазные моралисты живут и сегодня еще идеализированными воспоминаниями вчерашнего дня и надеждами на его возвращение. Они не понимают, что мораль есть функция классовой борьбы; что демократическая мораль отвечала эпохе либерального и прогрессивного капитализма; что обострение классовой борьбы, проходящее через всю новейшую эпоху, окончательно и бесповоротно разрушало эту мораль; что на смену ей пришла мораль фашизма, с одной стороны, мораль пролетарской революции, с другой.

"Здравый смысл".

Демократия и "общепризнанная" мораль являются не единственными жертвами империализма. Третьим пострадавшим является "общечеловеческий" здравый смысл. Эта низшая форма интеллекта не только необходима при всех условиях, но и достаточна при известных условиях. Основной капитал здравого смысла состоит из элементарных выводов общечеловеческого опыта: не класть палец в огонь, идти по возможности по прямой линии, не дразнить злых собак... и пр., и пр. При устойчивости социальной среды здравый смысл оказывается достаточен, чтобы торговать, лечить, писать статьи, руководить профессиональным союзом, голосовать в парламенте" заводить семью и плодить детей. Но когда тот же здравый смысл пытается выйти за свои законные пределы на арену более сложных обобщений, он обнаруживает себя лишь, как сгусток предрассудков определенного класса и определенной эпохи. Уже простой капиталистический кризис ставит здравый смысл в тупик; а пред лицом таких катастроф, как революции, контрреволюции и войны, здравый смысл оказывается круглым дураком. Для познания катастрофических нарушений "нормального" хода вещей нужны более высокие качества интеллекта, философское выражение которым дал до сих пор только диалектический материализм.

Макс Истмен, который с успехом стремится сообщить "здравому смыслу" как можно более привлекательную литературную форму, сделал себе из борьбы с диалектикой нечто вроде профессии. Консервативные банальности здравого смысла в сочетании с хорошим стилем Истмен в серьез принимает за "науку революции". Поддерживая реакционных снобов из "Common Sense", он с неподражаемой уверенностью поучает человечество, что, еслиб Троцкий руководствовался

не марксистской доктриной, а здравым смыслом, то он... не потерял бы власти. Та внутренняя диалектика, которая проявлялась до сих пор в чередовании этапов во всех революциях, для Истмена не существует. Смена революции реакцией определяется для него недостаточным уважением к здравому смыслу, Истмен не понимает, что как раз Сталин оказался, в историческом смысле, *жертвой* здравого смысла, т. е. его недостаточности, ибо та власть, которую он обладает, служит целям, враждебным большевизму. Наоборот, марксистская доктрина позволила нам своевременно оторваться от термидорианской бюрократии и продолжать служить целям международного социализма.

Всякая наука, в том числе и "наука революции", проверяется опытом. Так как Истмен хорошо знает, как удержать революционную власть в условиях мировой контрреволюции, то он, надо надеяться, знает также, как можно завоевать власть. Было бы очень желательно, чтоб он раскрыл, наконец, свои секреты. Лучше всего это сделать в виде *проекта программы революционной партии*, под заглавием: как завоевать и как удержать власть. Мы боимся, однако, что именно здравый смысл побудит Истмена воздержаться от столь рискованного предприятия. И на этот раз здравый смысл будет прав.

Марксистская доктрина, которой Истмен, увы, никогда не понимал, позволила нам предвидеть неизбежность, при известных исторических условиях, советского Термидора, со всей его свитой преступлений. Та же доктрина задолго предсказала неизбежность крушения буржуазной демократии и ее морали. Между тем доктринеры "здравого смысла" оказались застигнуты фашизмом и сталинизмом врасплох. Здравый смысл оперирует неизменными величинами в мире, где неизменна только изменяемость. Диалектика, наоборот, берет все явления, учреждения и нормы в их возникновении, развитии и распаде". Диалектическое отношение к морали, как к служебному и преходящему продукту классовой борьбы, кажется здравому смыслу "аморализмом". Между тем нет ничего более черствого, ограниченного, самодовольного и циничного, чем мораль здравого смысла!

Моралисты и ГПУ.

Повод к крестовому походу против большевистского "аморализма" подали московские процессы. Однако поход открылся не сразу. Дело в том, что в большинстве своем моралисты, прямо или косвенно, состояли друзьями Кремля. В качестве таковых они долго пытались скрыть свое изумление и даже делали вид, будто ничего особенного не произошло.

Между тем московские процессы отнюдь не явились случайностью. Раболепство, лицемерие, официальный культ лжи, подкуп и все другие виды коррупции начали пышно расцветать в Москве уж с 1924—1925 гг. Будущие судебные подлоги открыто готовились на глазах всего мира. В предупреждениях недостатка не было. Однако "друзья" не хотели ничего замечать. Не мудрено: большинство этих господ в свое время непримиримо враждебных Октябрьской революции, примирялось с Советским Союзом лишь по мере его термидорианского перерождения: мелкобуржуазная демократия Запада узнавала в мелкобуржуазной бюрократии Востока родственную душу.

Действительно ли эти люди верили московским обвинениям? Верили лишь наиболее тупые. Остальные не хотели себя тревожить проверкой. Стоит ли нарушать лестную, удобную и, нередко, выгодную дружбу с советскими посольствами? К тому же — о, они не забывали и об этом! — неосторожная правда может причинить ущерб престижу СССР. Эти люди прикрывали преступления утилитарными соображениями, т. е. открыто применяли принцип "цель оправдывает средства".

Инициативу бесстыдства взял на себя королевский советник Притт, который успел в Москве своевременно заглянуть под хитон сталинской Фемиды и нашел там все в полном порядке. Ромен Роллан, нравственный авторитет которого высоко расценивается бухгалтерами советского издательства, поспешил выступить с одним из своих манифестов, где меланхолический лиризм сочетается с сенильным цинизмом. Французская Лига прав человека, громившая "аморализм Ленина и Троцкого" в 1917 г., когда они порвали военный союз с Францией, поспешила прикрыть

преступления Сталина в 1936 г., в интересах франко-советского договора. Патриотическая цель оправдывает, как известно, всякие средства. "Nation" и "New Republic" закрывали глаза на подвиги Ягоды, ибо "дружба" с СССР стала залогом их собственного авторитета. Нет, всего лишь год тому назад эти господа вовсе не говорили, что сталинизм и троцкизм — одно и то же. Они открыто стояли за Сталина, за его реализм, за его юстицию и за его Ягоду. На этой позиции они держались так долго, как могли.

До момента казни Тухачевского, Якира и др. крупная буржуазия демократических стран, не без удовольствия, хоть и прикрытого брезгливостью, наблюдала истребление революционеров в СССР. В этом смысле "Nation" и "New Republic", не говоря уж о Дуранти, Луи Фишере и им подобных проститутках пера, шли полностью навстречу интересам "демократического" империализма. Казнь генералов встревожила буржуазию, заставив ее понять, что далеко зашедшее разложение сталинского аппарата может облегчить работу Гитлеру, Муссолини и Микадо. "Нью-Йорк Тайме" начал осторожно, но настойчиво поправлять своего собственного Дуранти. Парижский "Тан" чуть-чуть приоткрыл столбцы для освещения действительного положения в СССР. Что касается мелкобуржуазных моралистов и сикофантов, то они никогда не были чем-либо иным, как подголосками капиталистических классов. К тому же после того, как Комиссия Джона Дьюи вынесла свой вердикт, для всякого мало-мальски мыслящего человека стало ясно, что дальнейшая открытая защита ГПУ означает риск политической и моральной смерти. Только с этого момента "друзья" решили извлечь на свет божий вечные истины морали, т. е. занять вторую линию траншей.

Не последнее место среди моралистов занимают перепуганные сталинцы или полусталинцы. Юджин Лайонс в течение нескольких лет отлично уживался с термидорианской кликой, считая себя почти-большевиком. Отшатнувшись от Кремля — повод для нас безразличен, — он, разумеется, немедленно же очутился на облаках идеализма. Листон Оок еще недавно пользовался таким доверием Коминтерна, что ему поручено было руководство республиканской пропагандой в Испании на английском языке. Это не помешало ему, разумеется, отказавшись от должности, отказаться и от азбуки марксизма. Невозвращенец Вальтер Кривицкий, порвав с ГНУ, сразу перешел к буржуазной демократии. По-видимому, такова же метаморфоза и престарелого Шарля Раппопорта. Выбросив за борт свой сталинизм, люди такого типа — их много — не могут не искать в доводах абстрактной морали компенсацию за пережитое ими разочарование или идейное унижение. Спросите их: почему из рядов Коминтерна и ГПУ они перешли в лагерь буржуазии? Ответ готов: "троцкизм не лучше сталинизма".

Политическая расстановка фигур.

"Троцкизм — это революционная романтика, сталинизм — реальная политика". От этого пошлого противопоставления, которым средний филистер вчера еще оправдывал свою дружбу с термидором против революции, сегодня не осталось и следа. Троцкизм и сталинизм вообще больше не противопоставляются, а отождествляются. Отождествляются по форме, но не по существу. Отступив на меридиан "категорического императива", демократы продолжают фактически защищать ГПУ, только более замаскированно и вероломно. Кто клеветает на жертву, тот помогает палачу. В этом случае, как и в других, мораль служит политике.

Демократический филистер и сталинский бюрократ являются, если не близнецами, то братьями по духу. Политически они, во всяком случае, принадлежат к одному лагерю. На сотрудничестве сталинцев, социал-демократов и либералов основана нынешняя правительственная система Франции и — с присоединением анархистов — республиканской Испании. Если британская Независимая рабочая партия выглядит столь помятой, то это потому, что она за ряд лет не выходила из объятий Коминтерна. Французская социалистическая партия исключила троцкистов из своих рядов как раз в тот момент, когда готовилась к слиянию со сталинцами. Если слияние не осуществилось, то не из-за принципиальных расхождений, — что осталось от них? — а лишь вследствие страха социал-демократических карьеристов за свои посты. Вернувшись из Испании, Норман Томас объявил, что троцкисты "объективно" помогают Франко и этой субъективной нелепостью оказал "объективную" услугу палачам ГПУ. Этот праведник исключил американских "троцкиста" из своей партии — как раз в тот Период, когда ГПУ расстреливало их

единомышленников в СССР и в Испании. Во многих демократических странах сталинцы, несмотря на свой "аморализм", не без успеха проникают в государственный аппарат. В профессиональных союзах они отлично уживаются с бюрократами всех других цветов. Правда, сталинцы слишком легко относятся к уголовному уложению и этим отпугивают своих "демократических" друзей в мирное время; зато в исключительных обстоятельствах, как указывает пример Испании, они тем увереннее становятся вождями мелкой буржуазии против пролетариата.

Второй и Амстердамский Интернационалы не брали на себя, конечно, ответственности за подлоги: эту работу они предоставляли Коминтерну. Сами они молчали. В частном порядке, они объясняли, что, с точки зрения морали, они против Сталина, но с точки зрения политики — за него. Только когда Народный фронт во Франции дал непоправимые трещины и заставил социалистов подумать о завтрашнем дне, Леон Блюм нашел на дне своей чернильницы необходимые формулы нравственного негодования.

Если Отто Бауэр мягко осуждает юстицию Вышинского, То лишь для того, чтоб с тем большим "беспристрастием" поддержать политику Сталина. Судьба социализма, по недавнему заявлению Бауэра, связана с судьбой Советского Союза. "А судьба Советского Союза, — продолжает он, — есть судьба сталинизма, пока (!) внутреннее развитие самого Советского Союза не преодолит сталинской фазы развития". В этой великолепной фразе весь Бауэр, весь австромарксизм, вся ложь и гниль социал-демократии! "Пока" сталинская бюрократия достаточно сильна, чтоб истреблять прогрессивных представителей "внутреннего развития", до тех пор Бауэр остается со Сталиным. Когда же революционные силы, вопреки Бауэру, опрокинут Сталина, тогда Бауэр великодушно признает "внутреннее развитие", — с запозданием лет на десять, не больше.

Вслед за старыми Интернационалами тянется и Лондонское бюро центристов, которое счастливо сочетает в себе черты детского сада, школы для отсталых подростков и инвалидного дома. Секретарь Бюро Феннер Броквей начал с заявления, что расследование московских процессов может "повредить СССР" и взамен этого предложил расследовать... политическую деятельность Троцкого, через "беспристрастную" комиссию из пяти непримиримых противников Троцкого. Брандлер и Ловстон публично солидаризировались с Ягодой: они отступили только перед Ежовым; Яков Вальхер, под заведомо ложным предлогом, отказался дать комиссии Д. Дьюи свидетельское показание, неблагоприятное для Сталина. Гнилая мораль этих людей есть только продукт их гнилой политики.

Но самую плачевную роль играют, пожалуй, анархисты. Если сталинизм и троцкизм — одно и то же, как твердят они в каждой строке, почему же испанские анархисты помогают сталинцам расправиться с троцкистами, а заодно и с революционными анархистами? Более откровенные теоретики безвластия отвечают: это плата за оружие. Другими словами: цель оправдывает средства. Но какова их цель: анархизм? социализм? Нет, спасение той самой буржуазной демократии, которая подготовила успехи фашизма. Низменной цели соответствуют низменные средства.

Такова действительная расстановка фигур на мировой политической доске!

Сталинизм — продукт старого общества.

Россия совершила самый грандиозный в истории скачок вперед, в котором нашли себе выражение наиболее прогрессивные силы страны. Во время нынешней реакции, размах которой пропорционален размаху революции, отсталость берет свой реванш. Сталинизм стал воплощением этой реакции. Варварство старой русской истории на новых социальных основах кажется еще отвратительнее, ибо вынуждено прикрываться невиданным в истории лицемерием.

Либералы и социал-демократы Запада, которых Октябрьская революция заставила усомниться в своих обветшавших идеях, почувствовали ныне новый прилив бодрости. Нравственная гангрена советской бюрократии кажется нам реабилитацией либерализма. На свет извлекаются затасканные прописи: "всякая диктатура заключает в себе залог собственного разложения"; "только демократия

обеспечивает развитие личности" и пр. Противопоставление демократии и диктатуры, заключающее в себе, в данном случае, осуждение социализма во имя буржуазного режима, поражает, с теоретической точки зрения, своей неграмотностью и недобросовестностью. Мерзость сталинизма, как историческая реальность, противопоставляется демократии, как над-исторической абстракции. Но демократия тоже имела свою историю, в которой не было недостатка в мерзости. Для характеристики советской бюрократии мы заимствуем имена "термидора" и "бонапартизма" из истории буржуазной демократии, ибо — да будет известно запоздалым либеральным доктринерам, — *демократия появилась на свет вовсе не демократическим путем*. Только пошляки могут удовлетворяться рассуждениями на тему о том, что бонапартизм явился "законным детищем" якобинизма; исторической карой за нарушение демократии и пр. Без якобинской расправы над феодализмом немислима была бы даже и буржуазная демократия. Противопоставление конкретных исторических этапов: якобинизма, термидора, бонапартизма идеализованной абстракции "демократии" столь же порочно, как противопоставление родовых мук живому младенцу.

Сталинизм, в свою очередь, есть не абстракция "диктатуры", а грандиозная бюрократическая реакция против пролетарской диктатуры в отсталой и изолированной стране. Октябрьская революция низвергла привилегии, объявила войну социальному неравенству, заменила бюрократию самоуправлением трудящихся, ниспровергла тайную дипломатию, стремилась придать характер полной прозрачности всем общественным отношениям. Сталинизм восстановил наиболее оскорбительные формы привилегий, придал неравенству вызывающий характер, задушил массовую самодеятельность полицейским абсолютизмом, превратил управление в монополию кремлевской олигархии и возродил фетишизм власти в таких формах, о каких не смела мечтать абсолютная монархия.

Социальная реакция всех видов вынуждена маскировать свои действительные цели. Чем резче переход от революции к реакции" чем больше реакция зависит от традиций революции, т. е. чем больше она боится масс, тем больше она вынуждена прибегать к лжи и подлогу в борьбе против представителей революции. Сталинские подлоги являются не плодом большевистского "аморализма"; нет, как все важные события истории, они являются продуктом конкретной социальной борьбы, притом самой вероломной и жестокой из всех: борьбы новой аристократии против масс, поднявших ее к власти.

Нужна поистине предельная интеллектуальная и моральная тупость, чтоб отождествлять реакционно-полицейскую мораль сталинизма с революционной моралью большевиков. Партия Ленина не существует уже давно: она разбилась о внутренние трудности и о мировой империализм. На смену ей пришла сталинская бюрократия, как передаточный механизм империализма. Бюрократия заменила на мировой арене классовую борьбу классовым сотрудничеством, интернационализм — социал-патриотизмом. Чтоб приспособить правящую партию для задач реакции, бюрократия "обновила" ее состав путем истребления революционеров и рекрутирования карьеристов.

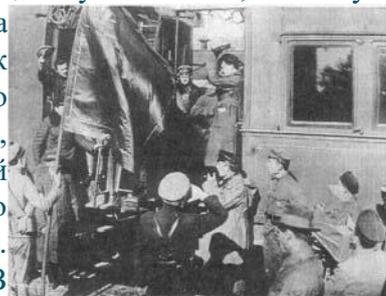
Всякая реакция возрождает, питает, усиливает те элементы исторического прошлого, которым революция нанесла удар, но с которыми она не сумела справиться. Методы сталинизма доводят до конца, до высшего напряжения и, вместе, до абсурда все те приемы лжи, жестокости и подлости, которые составляют механику управления во всяком классовом обществе, включая и демократию. Сталинизм — сгусток всех уродств исторического государства, его зловещая карикатура и отвратительная гримаса. Когда представители старого общества нравоучительно противопоставляют гангрене сталинизма стерилизованную демократическую абстракцию, мы с полным правом можем рекомендовать им, как и всему старому обществу, полюбоваться собою в кривом зеркале советского Термидора. Правда, ГПУ далеко превосходит все другие режимы обнаженностью преступлений. Но это вытекает из грандиозной амплитуды событий, потрясших Россию, в условиях мировой империалистической деморализации.

Мораль и революция.

Среди либералов и радикалов есть немало людей, которые усвоили себе приемы материалистического истолкования событий и считают себя марксистами. Это не мешает им, однако, оставаться буржуазными журналистами, профессорами или политиками. Большевик немислим, разумеется, без материалистического метода, в том числе и в области морали. Но этот метод служит ему не просто для истолкования событий, а для создания революционной партии пролетариата. Выполнять эту задачу нельзя без полной независимости от буржуазии и ее морали. Между тем буржуазное общественное мнение фактически полностью господствует ныне над официальным рабочим движением, от Вильяма Грина в Соединенных Штатах, через Леона Блюма и Мориса Тореза во Франции, до Гарсиа Оливера в Испании. В этом факте находит свое наиболее глубокое выражение реакционный характер нынешнего периода.

Революционный марксист не может даже приступить к своей исторической миссии, не порвав морально с общественным мнением буржуазии и ее агентуры в пролетариате. Для этого требуется нравственное мужество другого калибра, чем для того, чтобы широко разевать на собраниях рот и кричать: "Долой Гитлера!", "Долой Франко!". Именно этот решительный, до конца продуманный, непреклонный разрыв большевиков с консервативной моралью не только крупной, но и мелкой буржуазии смертельно пугает демократических фразеров, салонных пророков и кулуарных героев. Отсюда их жалобы на "аморализм" большевиков.

Факт отождествления ими буржуазной морали с моралью "вообще" лучше всего, пожалуй, проверить на самом левом фланге мелкой буржуазии, именно на центристских партиях, так называемого Лондонского Бюро. Так как эта организация "признает" программу пролетарской революции, то наши разногласия с ней кажутся, на поверхностный взгляд, второстепенными. На самом деле их "признание" не имеет никакой цены, ибо ни к чему не обязывает. Они "признают" пролетарскую революцию, как кантоницы признают категорический императив, т. е. как священный, но в повседневной жизни неприменимый принцип. В сфере практической политики они объединяются с худшими врагами революции (реформистами и сталинцами) для борьбы против нас. Все их мышление пропитано двойственностью и фальшью. Если центристы, по общему правилу, не поднимаются до внушительных преступлений, то только потому, что они всегда остаются на задворках политики: это, так сказать, карманные воришки истории. Именно поэтому они считают себя призванными возродить рабочее движение новой моралью.



На самом левом фланге этой "левой" братии стоит маленькая и политически совершенно ничтожная группка немецких эмигрантов, издающая газету "Neuer Weg" ("Новый Путь"). Нагнемся пониже и послушаем этих "революционных" обличителей большевистского аморализма. В тоне двусмысленной полупохвалы "Нейер Вег" пишет, что большевики выгодно отличаются от других партий отсутствием тацемерия: они открыто провозглашают то, что другие молча применяют на деле, именно, принцип: "цель освящает средства". Но, по убеждению "Нейер Вег", такого рода "буржуазное" правило несовместимо "со здоровым социалистическим движением". "Ложь и худшее не являются дозволенными средствами борьбы, как считал еще Ленин". Слово: "еще" означает, очевидно, что Ленин только потому не успел отречься от своих заблуждений, что не дожид до открытия "нового пути".

В формуле "ложь и худшее" второй член означает, очевидно: насилия, убийства и пр., ибо при равных условиях, насилие хуже лжи, а убийство — самая крайняя форма насилия. Мы приходим, таким образом, к выводу, что ложь, насилие, убийство несовместимы со "здоровым социалистическим движением". Как быть, однако, с революцией? Гражданская война есть самый жестокий из всех видов войны. Она немислима не только без насилия над третьими лицами, но, при современной технике, без убийства стариков, старух и детей. Нужно ли напомнить об Испании? Единственный ответ, который могут дать "друзья" республиканской Испании, будет гласить: гражданская война лучше, чем фашистское рабство. Но этот совершенно правильный ответ означает лишь, что цель (демократия или социализм) оправдывает, при известных условиях,

такие средства, как насилие и убийство. О лжи нечего уж и говорить! Без нее война немыслима, как машина без смазки. Даже для того, чтоб предохранять заседание Кортесов (1 февраля 1938 г.) от фашистских бомб, правительство Барселоны несколько раз намеренно обманывало журналистов и собственное население. Могло ли оно действовать иначе? Кто принимает цель: победу над Франко, — должен принять средство: гражданскую войну, с ее свитой ужасов и преступлений.

Но все же ложь и насилия "сами по себе" достойны осуждения? Конечно, как и классовое общество, которое их порождает. Общество без социальных противоречий будет, разумеется, обществом без лжи и насилий. Однако, проложить к нему мост нельзя иначе, как революционными, т. е. насильственными средствами. Сама революция есть продукт классового общества и несет на себе, по необходимости, его черты. С точки зрения "вечных истин", революция, разумеется, "антиморальна". Но это значит лишь, что идеалистическая мораль контрреволюционна, т. е. состоит на службе у эксплуататоров. "Но ведь гражданская война, — скажет, может быть, застигнутый врасплох философ, — это, так сказать, печальное исключение. Зато в мирное время здоровое социалистическое движение должно обходиться без насилия и лжи" Такой ответ представляет, однако, не что иное, как жалкую уловку. Между "мирной" классовой борьбой и революцией нет непроходимой черты. Каждая стачка заключает в себе в нераззернутом виде все элементы гражданской войны. Каждая сторона стремится внушить противнику преувеличенное представление о своей решимости к борьбе и о своих материальных ресурсах. Через свою печать, агентов и шпионов капиталисты стремятся запугать и деморализовать стачечников. Со своей стороны, рабочие пикеты, где не помогает убеждение, вынуждены прибегать к силе. Таким образом, "ложь и худшее" являются неотъемлемой частью классовой борьбы уже в самой элементарной ее форме. Остается прибавить, что самые понятия *правды и лжи* родились из социальных противоречий.

Революция и институт заложников.

Сталин арестовывает и расстреливает детей своих противников после того, как эти противники уже сами расстреляны по ложным обвинениям. При помощи института семейных заложников Сталин заставляет возвращаться из-за границы тех советских дипломатов, которые позволили себе выразить сомнение в безупречности Ягоды или Ежова. Моралисты из "Нейер Вег" считают нужным и своевременным напомнить по этому поводу о том, что Троцкий в 1919 г. "тоже" ввел закон о заложниках. Но здесь необходима дословная цитата: "Задержание невинных родственников Сталиным — отвратительное варварство. Но оно остается варварством и тогда, когда оно продиктовано Троцким (1919 г.)". Вот идеалистическая мораль во всей ее красе! Ее критерии так же лживы, как и нормы буржуазной демократии: в обоих случаях предполагается равенство там, где его на самом деле нет и в помине.

Не будем настаивать здесь на том, что декрет 1919 г. вряд ли хоть раз привел к расстрелу родственников тех командиров, измена которых не только причиняла неисчислимы человеческие потери, но и грозила прямой гибелью революции. Дело в конце концов не в этом. Если бы революция проявляла меньше излишнего великодушия с самого начала, сотни тысяч жизней были бы сохранены. Так или иначе, за декрет 1919 г. я несу полностью ответственность. Он был необходимой мерой в борьбе против угнетателей. Только в этом историческом содержании борьбы — оправдание декрета, как и всей вообще гражданской войны, которую ведь тоже можно не без основания назвать "отвратительным варварством".

Предоставим какому-нибудь Эмилю Людвигу и ему подобным писать портрет Авраама Линкольна с розовыми крылышками за плечами. Значение Линкольна в том, что для достижения великой исторической цели, поставленной развитием молодого народа, он не останавливался перед самыми суровыми средствами, раз они оказывались необходимы. Вопрос даже не в том, какой из воюющих лагерей причинил или понес самое большое число жертв. У истории разные мерилы для жестокостей северян и жестокостей южан в гражданской войне. Рабовладелец, который при помощи хитрости и насилия заковывает раба в цепи, и раб, который при помощи хитрости или насилия разбивает цепи, — пусть презренные евнухи не говорят нам, что они равны перед судом морали!

После того, как парижская Коммуна была утоплена в крови, и реакционная сволочь всего мира волочила ее знамя в грязи поношений и клевет, нашлось немало демократических филистеров, которые, приспособляясь к реакции, клеймили коммунарлов за расстрел 64 заложников во главе с парижским архиепископом. Маркс ни на минуту не задумался взять кровавый акт Коммуны под свою защиту. В циркуляре Генерального Совета Первого Интернационала в строках, под которыми слышится подлинное клокотание лавы, Маркс напоминает сперва о применении буржуазией института заложников в борьбе против колониальных народов и собственного народа и, ссылаясь затем на систематические расстрелы пленных коммунарлов остервенелыми реакционерлами, продолжает:

"Коммуне не оставалось ничего Другого для защиты жизни этих пленников, как прибегнуть к прусскому обычаю захвата заложников. Жизнь заложников была снова и снова загублена продолжающимися расстрелами пленников версальцами. Как можно было еще дальше щадить их после кровавой бойни, которой преторианцы Мак-Магона ознаменовали свое вступление в Париж? Неужели же и последний противовес против беспощадной дикости буржуазных правительств — захват заложников — должен был стать простой насмешкой?" Так писал Маркс о расстреле заложников, хотя за спиной его в Генеральном Совете сидело немало Феннер Броквеев, Норман Томасов и других Отто Бауэров. Но так свежо еще было возмущение мирового пролетариата зверством версальцев, что реакционные путаники предпочитали молчать в ожидании более для них благоприятных времен, которые, уг.ы, не замедлили наступить. Лишь после окончательного торжества реакции мелкобуржуазные моралисты, совместно с чиновниками трэд-юнионов и анархистскими фразерами, погубили Первый Интернационал.

Когда Октябрьская революция обороняла себя против объединенных сил империализма на фронте в 8000 километров, рабочие всего мира с таким страстным сочувствием следили за ходом борьбы, что пред их форумом было слишком рискованно обличать "отвратительное варварство" института заложников. Понадобилось полное перерождение советского государства и торжество реакции в ряде стран, прежде чем моралисты вылезли из своих щелей... на помощь Сталину. Ибо если репрессии, ограждающие привилегии новой аристократии, имеют ту же нравственную ценность, что и революционные меры освободительной борьбы, тогда Сталин оправдан целиком, если... если не осуждена целиком пролетарская революция.

Ища примеров безнравственности в событиях русской гражданской войны, господа моралисты оказываются, в то же время, вынуждены закрывать глаза на тот факт, что испанская революция тоже возродила институт заложников, по крайней мере, в тот период, когда она была подлинной революцией масс. Если обличители не посмели обрушиться на испанских рабочих за их "отвратительное варварство", то только потому, что почва Пиренейского полуострова еще слишком горяча для них. Гораздо удобнее вернуться к 1919 г. Эти уже история: старики успели забыть, а молодые еще не научились. По той же причине фарисеи разной масти с таким упорством возвращаются к Кронштадту и к Махно: здесь полная сЁобода для нравственных испарений!

"Мораль кафров".

Нельзя не согласиться с моралистами, что история выбирает жестокие пути. Но какой отсюда вывод для практической деятельности? Лев Толстой рекомендовал опроститься и усовершенствоваться. Махатма Ганди советует пить козьё молоко. Увы, "революционные" моралисты из "Нейер Вер" не так уж далеко ушли от этих рецептов. "Мы должны освободиться, — проповедуют они, — от той морали кафров, для которой неправильно лишь то, что делает враг". Прекрасный совет. "Мы должны освободиться..." Толстой рекомендовал заодно освободиться и от грехов плоти. Однако, статистика не подтверждает успеха его проповеди. Наши центристские гомункулусы успели подняться до сверхклассовой морали в классовом обществе. Но уже почти 2000 лет, как сказано: "любите врагов ваших", "подставляйте вторую щеку"... Однако даже святой римский отец не "освободился" до сих пор от ненависти к врагам. Поистине силен дьявол, враг рода человеческого!

Применять разные критерии к действиям эксплуататоров и эксплуатируемых, значит, по мнению бедных гомункулусов, стоять на уровне "морали кафров". Прежде всего вряд ли приличен под

пером "социалистов" столь презрительный отзыв о кафрах. Так ли уж плоха их мораль? Вот что говорит на этот счет британская энциклопедия:

"В своих социальных и политических отношениях они обнаруживают большой такт и ум; они замечательно храбры, воинственны и гостеприимны, и были честны и правдивы, пока, в результате контакта с белыми не стали подозрительны, мстительны и склонны к воровству, усвоив, сверх того, большинство европейских пороков". Нельзя не прийти к выводу, что в порче кафров приняли участие белые миссионеры, проповедники вечной морали.

Если рассказать труженнику-кафру, как рабочие, восставшие в любой части нашей планеты, застигли своих угнетателей врасплох, он будет радоваться. Наоборот, он будет огорчен, когда узнает, что угнетателям удалось обмануть угнетенных. Не развращенный до мозга костей миссионерами кафр никогда не согласится применять одни и те же абстрактные нормы морали к угнетателям и угнетенным. Зато он вполне усвоит себе, если разъяснить ему, что назначение таких абстрактных норм в том и состоит, чтоб мешать угнетенным восстать против угнетателей.

Какое поучительное совпадение: чтоб оклеветать большевиков миссионерам из "Нейер Вег" пришлось заодно оклеветать и кафров; причем в обоих случаях клевета идет по линиям официальной буржуазной лжи: против революционеров и против цветных рас. Нет, мы предпочитаем кафров всем миссионерам, как духовным, так и светским!

Не надо, однако, ни в каком случае переоценивать сознательность моралистов из "Нового Пути" и из других тупиков. Намерения этих людей не так уж плохи. Но, вопреки своим намерениям, они служат рычагами в механике реакции. В такой период, как нынешний, когда мелкобуржуазные партии цепляются за либеральную буржуазию или за ее тень (политика "Народных фронтов"), парализуют пролетариат и прокладывают путь фашизму (Испания, Франция...), большевики, т. е. революционные марксисты, становятся особенно одиозными фигурами в глазах буржуазного общественного мнения. Основное политическое давление наших дней идет справа налево. В последнем счете совокупная тяжесть реакции давит на плечи маленького революционного меньшинства. Это меньшинство называется Четвертым Интернационалом. *Voilà l'ennemi!* Вот враг!

Сталинизм занимает в механике реакции многие руководящие позиции. Помощью его в борьбе с пролетарской революцией пользуются, так или иначе все группировки буржуазного общества, включая и анархистов. В то же время одним за преступления своего московского союзника, мелкобуржуазные демократы пытаются, хоть на 50 % перекинуть на непримиримое революционное меньшинство. В этом и состоит смысл модной ныне поговорки: "троцкизм и сталинизм — одно и то же". Противники большевиков и кафров помогают, таким образом, реакции клеветать на партию революции.

"Аморализм" Ленина.

Самыми нравственными людьми были всегда русские эсэры: они в сущности состояли из одной этики. Это не помешало им, однако, во время революции обмануть русских крестьян. В парижском органе Керенского, того самого этического социалиста, который был предтечей Сталина в отношении подложных обвинений против большевиков, другой старый "социал-революционер", Зензинов, пишет: "Ленин, как известно, учил, что, ради достижения поставленной цели, коммунисты могут, а иногда и должны "пойти на всяческие уловки — на умолчание, на сокрытие правды"..." ("Новая Россия", 17 февраля 1938 г., стр. 3). Отсюда ритуальный вывод: сталинизм — законное дитя ленинизма.

К сожалению, этический обличитель не умеет даже честно цитировать. У Ленина сказано: "Надо уметь... пойти на все и всякие жертвы, даже — в случае необходимости — пойти на всяческие уловки, хитрости, нелегальные приемы, умолчания, сокрытие правды, *лишь бы проникнуть в профсоюзы, остаться в них, вести в них во что бы то ни стало коммунистическую работу*". Необходимость уловок и хитростей, по объяснению Ленина, вызывалась тем, что реформистская

бюрократия, предающая рабочих капиталу, подвергает революционеров травле, преследованиям и даже прибегает против них к буржуазной полиции. "Хитрость" и "сокрытие правды" являются в этом случае лишь средствами законной самообороны против предательской реформистской бюрократии.

Партия самого Зензинова когда-то вела нелегальную работу против царизма, а позже — против большевиков. В обоих случаях она прибегала к хитростям, уловкам, фальшивым паспортам и другим видам "сокрытия правды". Все эти *средства* считались не только "этическими", но и героическими, ибо отвечали политическим *целям* мелкобуржуазной демократии. Но положение сразу меняется, когда пролетарские революционеры вынуждены прибегать к конспиративным мерам против мелкобуржуазной демократии. Ключ к морали этих господ имеет, как видим, классовый характер!

"Аморалист" Ленин открыто, в печати, подает совет насчет военной хитрости против изменников-вождей. А моралист Зензинов злонамеренно урезывает цитату с обоих концов, чтоб обмануть читателя: этический обличитель оказывается, по обыкновению, мелким плутом. Недаром Ленин любил повторять: ужасно трудно встретить добросовестного противника!

Рабочий, который не утаивает от капиталиста "правду" о замыслах стачечников, есть попросту предатель, заслуживающий презрения и бойкота. Солдат, который сообщает "правду" врагу, карается, как шпион. Керенский ведь и пытался подкинуть большевикам обвинение в том, что они сообщали "правду" штабу Людендорфа. Выходит, что даже "святая правда" — не самоцель. Над ней существуют более повелительные критерии, которые, как показывает анализ, носят классовый характер.

Борьба на жизнь и смерть немислима без военной хитрости, другими словами, без лжи и обмана. Могут ли немецкие пролетарии не обманывать полицию Гитлера? Или может быть советские большевики поступают "безнравственно", обманывая ГПУ? Каждый благочестивый буржуа аплодирует ловкости полицейского, которому удастся при помощи хитрости захватить опасного гангстера. Неужели же военная хитрость недопустима, когда дело идет о том, чтоб опрокинуть гангстеров империализма?

Норман Томас говорит о той "странной коммунистической аморальности, для которой ничто не имеет значения, кроме партии и ее власти" ("that strange Communist amorality in which nothing matters but the Party and its power" — "Socialist Call", March 12, 1938, p. 5). Томас валит, при этом в одну кучу нынешний Коминтерн, т. е. заговор кремлевской бюрократии против рабочего класса, с большевистской партией, которая представляла собою заговор передовых рабочих против буржуазии. Это насквозь нечестное отождествление достаточно уже разоблачено выше. Сталинизм только прикрывается культом партии; на самом деле он ее разрушает и топчет в грязь. Верно, однако, то, что для большевика партия — все. Салонного социалиста Томаса удивляет и отталкивает подобное отношение революционера к революции, ибо сам он — только буржуа с социалистическим "идеалом". В глазах Томаса и ему подобных партия — подсобный инструмент для избирательных и иных комбинаций, не больше. Его личная жизнь, интересы, связи, критерии морали — вне Партии. Он с враждебным изумлением смотрит на большевика, для которого партия — орудие революционной перестройки общества, в том числе и его морали. У революционного марксиста не может быть противоречия между личной моралью и интересами партии, ибо партия охватывает в его сознании самые высокие задачи и цели человечества. Наивно думать, что у Томаса более высокое понятие о морали, чем у марксистов. У него просто более низменное понятие о партии.

"Все, что возникает, достойно гибели", говорит диалектик Гете. Гибель большевистской партии — эпизод мировой реакции — не умаляет, однако, ее всемирно-исторического значения. В период своего революционного восхождения, т. е. когда она действительно представляла пролетарский авангард, она была самой честной партией в истории. Где могла, она, разумеется, обманывала классовых врагов; зато она говорила трудящимся правду, всю правду и только правду. Только благодаря этому она завоевала их доверие в такой мере, как никакая другая партия в мире.

Приказчики господствующих классов называют строителя этой партии "аморалистом". В глазах сознательных рабочих это обвинение носит почетный характер. Оно означает: Ленин отказывался признавать нормы морали, установленные рабовладельцами для рабов и никогда не соблюдаемые самими рабовладельцами; он призывал пролетариат распространить классовую борьбу также и на область морали. Кто склоняется перед правилами, установленными врагом, тот никогда не победит врага!

"Аморализм" Ленина, т. е. отвержение им надклассовой морали, не помешал ему всю жизнь сохранять верность одному и тому же идеалу; отдавать всю свою личность делу угнетенных; проявлять высшую добросовестность в сфере идей и высшую неустранимость в сфере действия; относиться без тени превосходства к "простому" рабочему, к незащитной женщине, к ребенку. Не похоже ли, что "аморализм" есть в данном случае. Только синоним для более высокой человеческой морали?

Поучительный эпизод.

Здесь уместно рассказать эпизод, который, несмотря на свой скромный масштаб, недурно иллюстрирует различие между их и нашей моралью. В 1935 г., в письмах к своим бельгийским друзьям, я развивал ту мысль, что попытка молодой революционной партии строить "собственные" профсоюзы равносильна самоубийству. Надо находить рабочих там, где они есть. Но ведь это значит делать взносы на содержание оппортунистического аппарата? Конечно, отвечал я, за право вести подкоп против реформистов приходится временно платить им дань. Но ведь реформисты не повелят вести подкоп? Конечно, отвечал я, ведение подкопа требует мер конспирации. Реформисты — политическая полиция буржуазии внутри рабочего класса. Надо уметь действовать без их разрешения и против их запрещения... При случайном обыске у т. д., в связи, если не ошибаюсь, с делом о поставке оружия для испанских рабочих, бельгийская полиция захватила мое письмо. Через несколько дней оно оказалось опубликовано. Печать Вандервельде, Де-Манна и Спаака не пощадила, конечно, молний против моего "макиавеллизма" и "иезуитизма". Кто же эти обличители? Многолетний председатель Второго Интернационала, Вандервельде давно стал доверенным лицом бельгийского капитала. Де-Манн, который в ряде тяжеловесных томов облагораживал социализм идеалистической моралью и подбирался к религии, воспользовался первым подходящим случаем, чтоб обмануть рабочих и стать заурядным министром буржуазии. Еще красочнее обстояло дело со Спааком. Полтора года перед тем этот господин состоял в левой социалистической оппозиции и приезжал ко мне во Францию советоваться о методах борьбы против бюрократии Вандервельде. Я излагал ему те же мысли, которые составили впоследствии содержание моего письма. Но уже через год после визита, Спаак отказался от терний для роз. Предав своих друзей по оппозиции, он стал одним из наиболее циничных министров бельгийского капитала. В профессиональных союзах и в своей партии эти господа душат каждый голос критики, систематически развращают и подкупают более выдающихся рабочих и столь же систематически исключают непокорных. Они отличаются от ГПУ только тем, что не прибегают пока к пролитию крови: в качестве добрых патриотов, они берегут рабочую кровь для ближайшей империалистской войны. Ясно: нужно было быть исчадием ада, нравственным уродом, "кафром", большевиком, чтоб подать революционным рабочим совет соблюдать правила конспирации в борьбе против этих господ!



С точки зрения законов Бельгии, письмо мое не заключало, разумеется, ничего криминального. Обязанностью "демократической" полиции было вернуть письмо адресату с извинением. Обязанностью социалистической партии было протестовать против обыска, продиктованного заботой об интересах генерала Франко. Но господа социалисты отнюдь не постеснялись воспользоваться нескромной услугой полиции: без этого они не имели бы счастливого повода обнаружить лишний раз преимущества своей морали над аморализмом большевиков.

Все символично в этом эпизоде. Бельгийские социал-демократы опрокинули на меня ушаты своего негодования как раз в то время, когда их норвежские единомышленники держали меня и жену под замком, чтоб помешать нам защищаться против обвинений ГПУ. Норвежское правительство отлично знало, что московские обвинения подложны: об этом открыто писал в первые дни социал-демократический официоз. Но Москва ударила норвежских пароходовладельцев и рыботорговцев по карману,— и господа социал-демократы немедленно опустились на четвереньки. Вождь партии, Мартин Транмель, не только авторитет в сфере морали, но прямо праведник: не пьет, не курит, не вкушает мясного и купается зимой в ледяной проруби. Это не помешало ему, после того, как он арестовал нас по приказу ГПУ, специально пригласить для клеветы против меня норвежского агента ГПУ, Якова Фриза, буржуа без чести и совести. Но довольно...

Мораль этих господ состоит из условных правил и оборотов речи, которые должны прикрывать их интересы, аппетиты и страхи. В большинстве своем они готовы на всякую низость — отказ от убеждений, измену, предательство — во имя честолюбия или корысти. В священной сфере личных интересов цель оправдывает для них все средства. Но именно поэтому им необходим особый кодекс морали, прочной, и в то же время эластичной, как хорошие подтяжки. Они ненавидят всякого, кто разоблачает их профессиональные секреты перед массами. В "мирное" время их ненависть выражается в клевете, базарной или "философской". Во время острых социальных конфликтов, как в Испании, эти моралисты, рука об руку с ГПУ, истребляют революционеров. А чтоб оправдать себя, они повторяют: "троцкизм и сталинизм — одно и то же".

Диалектическая взаимозависимость цели и средства.

Средство может быть оправдано только целью. Но ведь и цель, в свою очередь, должна быть оправдана. С точки зрения марксизма, который выражает исторические интересы пролетариата, цель оправдана, если она ведет к повышению власти человека над природой и к уничтожению власти человека над человеком.

Значит, для достижения этой цели все позволено? — саркастически спросит филистер, обнаружив, что он ничего не понял. Позволено все то, ответим мы, что действительно ведет к освобождению человечества. Так как достигнуть этой цели можно только революционным путем, то освободительная мораль пролетариата имеет, по необходимости, революционный характер. Она непримиримо противостоит не только догмам религии, но и всякого рода идеалистическим фетишам, этим философским жандармам господствующего класса. Она выводит правила поведения из законов развития общества, следовательно, прежде всего из классовой борьбы, этого закона всех законов.

Значит, все же в классовой борьбе с капиталистами дозволены все средства: ложь, подлог, предательство, убийство и прочее? — продолжает настаивать моралист. Допустимы и обязательны те и только те средства, отвечаем мы, которые сплачивают революционный пролетариат, наполняют его душу непримиримой враждой к угнетению, научают его презирать официальную мораль и ее демократических подголосков, пропитывают его сознанием собственной исторической миссии, повышают его мужество и самоотверженность в борьбе. Именно из этого вытекает, что не все средства позволены. Когда мы говорим, что цель оправдывает средства, то отсюда вытекает для нас и тот вывод, что великая революционная цель отвергает в качестве средств все те низменные приемы и методы, которые противопоставляют одну часть рабочего класса другим его частям; или пытаются осчастливить массу без ее участия; или понижают доверие массы к себе самой и к своей организации, подменяя его преклонением перед "вождями". Прежде всего и непримиримее всего революционная мораль отвергает сервильизм по отношению к буржуазии и высокомерию по отношению к трудящимся, т. е. те качества, которые насквозь пропитывают мелкобуржуазных педантов и моралистов.

Эти критерии не дают, разумеется, готового ответа на вопрос, что позволено и что недопустимо в каждом отдельном случае. Таких автоматических ответов и не может быть. Вопросы революционной морали сливаются с вопросами революционной стратегии и тактики. Правильный ответ на эти вопросы дает живой опыт движения в свете теории.

Диалектический материализм не знает дуализма средства и цели. Цель естественно вытекает из самого исторического движения. Средства органически подчинены цели. Ближайшая цель становится средством для более отдаленной цели. В своей драме, "Франц фон Сикинген", Фердинанд Лассаль влагает следующие слова в уста одного из героев:

"Укажи не только цель, укажи и путь.
Ибо так нерасторжимо врастают друг в друга путь и цель,
Что одно всегда меняется вместе с другим,
И путь иной порождает иную цель".

Стихи Лассалья весьма несовершенны. Еще хуже то, что в практической политике Лассаль сам отклонялся от выраженного им правила: достаточно напомнить, что он докатился до тайных сделок с Бисмарком! Но диалектическая взаимозависимость между средством и целью выражена в приведенных четырех строках вполне правильно. Надо сеять пшеничное зерно, чтоб получить пшеничный колос.

Допустим или недопустим, например, индивидуальный террор с "чисто моральной" точки зрения? В этой абстрактной форме вопрос совершенно не существует для нас. Консервативные швейцарские буржуа и сейчас воздают официальную хвалу террористу Вильгельму Теллю. Наши симпатии полностью на стороне ирландских, русских, польских или индусских террористов в их борьбе против национального и политического гнета. Убитый Киров, грубый сатрап, не вызывает никакого сочувствия. Наше отношение к убийце остается нейтральным только потому, что мы не знаем руководивших им мотивов. Если бы стало известно, что Николаев выступил сознательным мстителем за попираемые Кировым права рабочих, наши симпатии были бы целиком на стороне убийцы. Однако решающее значение имеет для нас не вопрос о субъективных мотивах, а вопрос об объективной целесообразности. Способно ли мнимое средство действительно вести к цели? В отношении индивидуального террора теория и опыт свидетельствуют, что нет. Террористу мы говорим: заменить массы нельзя; только в массовом движении ты мог бы найти целесообразное применение своему героизму. Однако в условиях гражданской войны убийства отдельных насильников перестают быть актами индивидуального терроризма. Если бы, скажем, революционер взорвал на воздух генерала Франко и его штаб, вряд ли это вызвало бы нравственное возмущение даже у демократических евнухов. В условиях гражданской войны подобный акт был бы и политически вполне целесообразен! Так, даже в самом остром вопросе — убийство человека человеком — моральные абсолюты оказываются совершенно непригодны. Моральная оценка вместе с политической вытекает из внутренних потребностей борьбы.

Освобождение рабочих может быть только делом самих рабочих. Нет, поэтому, большего преступления, как обманывать массы, выдавать поражения за победы, друзей за врагов, подкупать вождей, фабриковать легенды, ставить фальшивые процессы,— словом, делать то, что делают сталинцы. Эти средства могут служить только одной цели: продлить господство клики, уже осужденной историей. Но они не могут служить освобождению масс. Вот почему Четвертый Интернационал ведет против сталинизма борьбу не на жизнь, а на смерть.

Массы, разумеется, вовсе не безгрешны. Идеализация масс нам чужда. Мы видели их в разных условиях, на разных этапах, притом в величайших политических потрясениях. Мы наблюдали их сильные и слабые стороны. Сильные стороны: решимость, самоотверженность, героизм находили всегда наиболее яркое выражение во время подъема революции. В этот период большевики стояли во главе масс. Затем надвинулась другая историческая глава, когда вскрылись слабые стороны угнетенных; неоднородность, недостаток культуры, узость кругозора. Массы устали от напряжения, разочаровались, потеряли веру в себя и — очистили место новой аристократии. В этот период большевики ("троцкисты") оказались изолированы от масс. Мы практически проделали два таких больших исторических цикла: 1897-1905, годы прибоя; 1907-1913, годы отлива; 1917-1923 гг.— период небывалого в истории подъема; наконец, новый период реакции, который не закончился еще и сегодня. На, этих больших событиях "троцкисты" учились ритму истории, т. е. диалектике борьбы классов. Они учились и, кажется, до некоторой степени научились подчинять этому объективному ритму свои субъективные планы и программы. Они

научились не приходить в отчаяние от того, что законы истории не зависят от наших индивидуальных вкусов или не подчиняются нашим моральным критериям. Они научились свои индивидуальные вкусы подчинять законам истории. Они научились не страшиться самых могущественных врагов, если их могущество находится в противоречии с потребностями исторического развития. Они умеют плыть против течения в глубокой уверенности, что новый исторический поток могущественной силы вынесет их на тот берег. Не все доплывут, многие утонут. Но участвовать в этом движении с открытыми глазами и с напряженной волей — только это и может дать высшее моральное удовлетворение мыслящему существу!

P. S. Я писал эти страницы в те дни, когда мой сын, неведомо для меня, боролся со смертью. Я посвящаю его памяти эту небольшую работу, которая, я надеюсь, встретила бы его одобрение: Лев Седов был подлинным революционером и презирал фарисеев.